

Михаил Шифман

*Рукопись,  
которой  
не было*

Евгения Каннегисер —  
леди Пайерлс



Диалог (Время)

Михаил Шифман

**Рукопись, которой  
не было. Евгения  
Каннегисер – леди Пайерлс**

«WebKniga»

2020

## **Шифман М.**

Рукопись, которой не было. Евгения Каннегисер – леди Пайерлс /  
М. Шифман — «WebKniga», 2020 — (Диалог (Время))

ISBN 978-5-9691-1986-4

Неизвестные подробности о молодом Ландау, о предвоенной Европе, о том, как начиналась атомная бомба, о будничной жизни в Лос-Аламосе, о великих физиках XX века – все это читатель найдет в «Рукописи». Душа и сердце «джаз-банда» Ландау, Евгения Каннегисер (1908–1986) – Женя в 1931 году вышла замуж за немецкого физика Рудольфа Пайерлса (1907–1995), которому была суждена особая роль в мировой истории. Именно Пайерлс и Отто Фриш написали и отправили Черчиллю в марте 1940 года знаменитый Меморандум о возможности супербомбы, который и запустил англо-американскую атомную программу. Так Женя и Руди оказались в центре важнейших событий, из которых складывалась история XX века. Взгляд Жени представляет события того времени со стороны, малознакомой (или вообще незнакомой) российскому читателю. Эта книга о предательстве и ненависти, о слезах и крови. Эта книга о любви, длившейся более полувека, дружбе и взаимовыручке в сообществе физиков, малочисленном в то время, но сыгравшем столь важную роль в послевоенной истории человечества.

ISBN 978-5-9691-1986-4

© Шифман М., 2020

© WebKniga, 2020

## Содержание

Предисловие автора	6
Истоки	8
Университет	14
Джаз-банд	20
Начало взрослой жизни: 1929–1931 гг	22
Конец ознакомительного фрагмента.	26

**Михаил Шифман**  
**Рукопись, которой не было.**  
**Евгения Каннегисер – леди Пайерлс**

*Художественное электронное издание*

© Михаил Шифман, 2020

© Оформление, «Время», 2020

\* \* \*

## Предисловие автора

Эта книга основана на многочисленных документах, имевшихся у автора. Она написана в виде рукописи Жени Пайерлс, которая включает в себя ее письма, заметки, а также фрагменты из мемуаров Рудольфа Пайерлса и других воспоминаний.

И тем не менее ее следует воспринимать как художественное произведение. В документах и рассказах живых свидетелей, как бы подробны они ни были, всегда есть пробелы. Я позволил себе заполнить их, используя свои знания и фантазию. Мне пришлось объединить неоднородные по датировке письма и воспоминания, превратив разрозненные фрагменты в связное повествование. Обширная переписка Жени и Руди в начале 1930-х дана в сокращении, так же как и несколько более поздних писем. В последующих главах иногда я вкладывал в уста Жени слова Руди или друзей-физиков. В конце «Рукописи» чуть-чуть нарушена хронология, чтобы излишне не затягивать изложение. Но все это не отразилось на достоверности содержания этой книги.

Читатель, который хотел бы ознакомиться с оригинальными документами (часть из которых опубликована впервые) и детальными ссылками, может обратиться к английскому варианту этой книги (*M. Shifman. Love and Physics: The Peierlses. World Scientific, 2019*). Там же содержится большое количество фотографий. Все документы до 1930 года исходно написаны по-русски. Начиная с 1931 года большая часть материалов исходно написана по-английски, хотя некоторые письма Руди – по-немецки. Написанное по-английски я перевел сам.

В конце основного текста читатель найдет краткую справку о всех основных действующих лицах этой книги.

---

Конечно же я не смог бы осуществить свой замысел «Рукописи» без помощи многих замечательных людей, которую они оказывали мне в течение двух лет работы над будущей книгой. Прежде всего мне следует упомянуть Габи Гросс и Джоанну Хуквей, дочерей Пайерлсов, за многочисленные беседы и переписку. Они любезно предоставили мне кое-какие материалы из семейного архива. Безмерно полезными были мемуары Рудольфа Пайерлса «Перелетная птица» («*Bird of Passage*». Princeton University Press, 1985). Я рад сказать большущее спасибо Сабине Ли, декану исторического факультета Бирмингемского университета. Она выполнила поистине титаническую работу по публикации переписки Рудольфа Пайерлса. Сначала вышел один том, а потом еще два, почти по тысяче страниц в каждом. Летом 2017 года я встретился с Сабиной в Бирмингеме. Она разрешила мне пользоваться всеми опубликованными письмами и материалами и предоставила еще целый пакет неопубликованных документов. За предоставленные архивные материалы я выражаю признательность American Institute of Physics, Bodleian Archive (Oxford University), Bradbury Science Museum – Los Alamos National Laboratory (Аллан Капп), The National Archives, Kew, England, Российскому государственному архиву социально-политической истории (РГАСПИ) и библиотеке им. Сахарова в Москве.

Большую помощь мне оказали друзья, разбросанные по всему миру. Благодаря им ко мне попали малодоступные воспоминания (в частности, Нины Каннегисер и о ней) и фотографии, а также два-три неопубликованных письма Жени. Спасибо вам, Наталия Александер, Катя Арнольд, Геннадий Горелик, Крис Девитт, Жоао да Провиденция, Иссахар Унна и Анника Фьелштад.

Ну и наконец, мне хочется поблагодарить Юлию Фролову и мою жену Риту за многочисленные замечания и предложения по моей рукописи. Они помогли мне в непростой задаче вжиться в образ Жени, от чьего лица идет повествование.

*Я бегу по улице в бомбоубежище, где-то позади рвутся бомбы, справа и слева – развалины разрушенных домов в огне, осколки стекла, битый кирпич... разрывы зенитных снарядов. Где оно, это чертово бомбоубежище... вот уже рядом... Немецкие бомбардировщики, волна за волной, сбросив свой черный груз, разворачиваются в сторону моря. А я упала... и в голове неровной строчкой: «Надо написать, чтобы дети знали...»*

*Прошло много лет и вот, наконец, я села за эту рукопись. Дважды или трижды я начинала жизнь сначала, как будто судьба переворачивала мои песочные часы. Детство в Петербурге, революция и Гражданская война, я, Ландау и его друзья, Руди Пайерлс и любовь, Англия, война, атомная бомба, мы в Лос-Аламосе, Нильс Бор и другие титаны вокруг нас – все это связалось в памяти в единую цепь. И кто еще напишет об этой причудливой, невероятной, невозможной жизни, если не я...*

## Истоки

Я родилась 25 июля 1908 года. Как только я появилась на свет, в Петербурге пропало электричество. Мама говорила, что она уже тогда подумала, что жизнь моя будет необычной...

Своего отца, Николая Самуиловича Каннегисера, я не помню. Знаю только, что был он на 25 лет старше мамы, один из лучших гинекологов Петербурга. Он умер полтора года спустя после того, как я родилась, от сепсиса (septicemia). Вскоре после его смерти родилась сестра Нина. От отца остались кое-какие сбережения, на которые мы жили несколько лет.

По материнской линии мой отец был из огромного клана Мандельштамов. Его отец, мой дед, тоже был врачом. В его квартире в центре Петербурга часто собиралась петербургская интеллигенция: писатели, художники, ученые, врачи...

Мама вышла замуж в девятнадцать лет и прожила с Николаем Самуиловичем меньше трех лет. Хотя она и была по-своему образованна, никакой специальности у нее не было. Правда, в 1905 году она полгода работала сестрой милосердия в военном госпитале. Тридцать лет спустя ей это очень пригодилось. Мама была бесконечно доброй. Я закрываю глаза и чувствую прикосновения ее рук, слышу ее голос.

Мандельштамы были разбросаны по всей Российской империи, но особенно много их было в Петербурге, Москве и Одессе. Мы все знали друг друга и часто встречались. В 1912 году мама вышла замуж повторно, за двоюродного брата моего отца, Исая Бенедиктовича Мандельштама.

Незадолго до моего отъезда в Швейцарию в 1931 году мы с мамой долго говорили о жизни. Мама сказала: «Как жаль, что я не захотела иметь детей от Исае. У нас должно было быть больше детей. Я была глупой – боялась, потому что думала, что ты и Нина почувствуете разницу в отношении Исае к вам. А теперь нам будет очень одиноко...»

Все эти двадцать лет Исай Бенедиктович был для нас отцом. Он учил нас дома математике и русской литературе, всегда терпеливо и доброжелательно. Ему можно было задать любой вопрос, он никогда не уходил от ответа, даже когда нам было всего девять-десять лет. Он любил нас – меня и Нину – и воспитывал как своих детей, передавая нам все то хорошее, что в нем было. А мы обожали его.

\* \* \*

Я думала, что запишу в этой тетрадке все по порядку, а сама перескочила на двадцать лет. Итак, возвращаюсь к детству. Первые детские воспоминания переносят меня в 1914 год. Брат моего отца, Иоаким Самуилович Каннегисер (он же приходился двоюродным братом Исае), был богатым промышленником, потомственным дворянином и титулярным советником.

Еще до моего рождения он руководил судостроительными верфями в Николаеве, на берегу Черного моря, а в 1907 году его семья переехала в Петербург. Они занимали целый этаж в доме № 10 по Саперному переулку. Эта квартира служила местом собраний инженерной элиты Петербурга и клубом для писателей и поэтов. Получить приглашение на литературный вечер Каннегисеров было большой честью. Об одном из таких вечеров в январе 1916 года вспоминает Марина Цветаева в «Нездешнем вечере»:

«Над Петербургом стояла выюга. Именно – стояла: как кружащийся волчок – или кружащийся ребенок – или пожар. Белая сила – уносила.

Унесла она из памяти и улицу, и дом, а меня донесла – поставила и оставила – прямо посреди залы – размеров вокзальных, бальных, музейных, сновиденных.



Так, из выюги в залу, из белой пустыни выюги – в желтую пустыню залы, без промежуточных инстанций подъездов и вводных предложений слуг <...>

Потом – читают все. Есенин читает Марфу Посадницу, принятую Горьким в “Летопись” и запрещенную цензурой. Помню сизые тучи голубей и черную – народного гнева. – “Как Московский царь – на кровавой гульбе – продал душу свою – Антихристу...”

Осип Мандельштам, полузакрыв верблюжьи глаза, вещает:

Поедем в Ца-арское Се-ело,  
Свободны, веселы и пьяны,  
Там улыбаются уланы,  
Вскочив на крепкое седло...»

Иоакима Самуиловича мы звали дядя Аким. Каждый год в начале осени он устраивал детские утренники. На них съезжалась многочисленная родня, наши с Ниной двоюродные и троюродные братья и сестры, иногда даже из Москвы. Сначала шло представление для детей, а потом обед для всех. Представление устраивалось в большой зале возле камина, на камине сидел Пьеро; Коломбина и Арлекин выходили на середину залы, окруженные кольцом зрителей. Обычно среди зрителей было много взрослых. Но не в тот раз. Мужчины исчезли в соседней комнате, откуда слышались возбужденные голоса.

По дороге домой я спросила Исаю, почему он пропустил такое веселое представление.

– Видишь ли, дорогая, недавно Россия вступила в войну с Германией и Австро-Венгрией. Это очень важное событие, о котором мы должны были поговорить. Чтобы не мешать вам, ушли в соседнюю комнату.

– И о чем вы так долго говорили?

– Мы спорили, Женя. Некоторые считают, что эта война хороша для России, а я думаю, что это очень плохо. Война – всегда плохо...

Исай сжал мою руку и молчал всю оставшуюся дорогу. Это было так не похоже на него, что мне стало страшно.

\* \* \*

Раз уж я начала об Иоакиме Самуиловиче, пожалуй, напишу о трагической судьбе его семьи. Во Временном правительстве Керенского он занимал довольно высокую должность в президиуме Военно-промышленного комитета. У дяди Акима было два сына – Сергей и Леонид – и дочь Елизавета, которую все почему-то звали Лулу. Хотя они были намного старше меня, мы часто встречались летом в Одессе, на даче Каннегисеров. Они купили дачу, еще когда жили в Николаеве. В этом большом и гостеприимном доме летом отдыхали и Мандельштамы, и Гурвичи, и Левины. К нам присоединялись наши одесские родственники.

Дачные дни и ночи запомнились мне непрерывным и безудержным смехом, купанием с брызгами в Черном море, играми в шарады и мяч, представлениями, которые мы устраивали для взрослых. Детское дурачество тех дней в Одессе – одно из моих самых ярких детских воспоминаний.

Все это, конечно, прекратилось в 1917 году. Весной этого года Сергей Каннегисер покончил жизнь самоубийством. Его младший брат Леонид 30 августа 1918 года застрелил Моисея Урицкого, председателя петроградской Чека. В это время уже разгорался Красный террор, каждый день расстреливали белогвардейских офицеров и других неблагонадежных. Девятнадцатого августа расстреляли друга Леонида по артиллерийскому училищу и еще пятерых кур-

сантов. Леня был порывистым, поэтическим мальчиком, жившим не в реальном мире, а в своих стихах. Он решил отомстить...

И если, шатаясь от боли,  
К тебе припаду я, о мать,  
И буду в покинутом поле  
С простреленной грудью лежать –

Тогда у блаженного входа  
В предсмертном и радостном сне,  
Я вспомню – Россия, Свобода,  
Керенский на белом коне<sup>1</sup>.

В тот же день ЧК арестовала Иоакима Самуиловича, а моего отчима – на следующий день. Всего было арестовано несколько сотен человек, имена которых нашли в Лениной записной книжке. Леню расстреляли. Иван Алексеевич Бунин в Париже назвал его героем. В России его имя стало запретным.

Исаю Бенедиктовича и дядю Акима отпустили только в конце декабря, после четырех месяцев допросов. Дядя Аким был раздавлен. После второго ареста в 1921 году он начал хлопотать о выездной визе из России. Разрешение было получено в 1923-м. В 1924 году дядя Аким с Розой Львовной и Лулу уехали в Париж. После войны, когда в 1946 году мы вернулись в Англию, я узнала, что дядя Аким и тетя Роза умерли, а Лулу... После капитуляции Франции в 1940-м она бежала из Парижа в Ниццу. В 1942-м, после немецкой оккупации южной части Франции, Лулу была арестована в Ницце французской полицией и отправлена в пересыльный лагерь Дранси близ Парижа. Оттуда гестапо переправило ее в Аушвиц, где она и погибла в 1943 году в газовой камере. Ей было 46 лет.

\* \* \*

Как и положено девочке из интеллигентной семьи, в должное время меня отдали в женскую гимназию. Сначала был экзамен, который я сдала лучше всех. Еще бы, с таким учителем, как Исай! Потом мне купили форму – коричневое шерстяное платье и черный шерстяной фартук. Когда я впервые ее примерила, и мама и отчим были очень взволнованы, да и я тоже. Ранец, в который нужно было складывать учебники и тетради, был из бежевой кожи и вкусно пахнул. Я не могла дождаться, когда мне дадут учебники, чтобы просмотреть их заранее. И еще я думала о будущих подружках по гимназии: будет ли нам весело вместе, будем ли мы делиться секретами? Заканчивалось лето 1916 года. Последний год старого мира...

К сожалению, я совершенно не помню моей первой учительницы. Время полностью стерло не только ее имя, но и лицо. Исчезли в дымке и те первые мои подружки. Возможно, это связано с тем, что мой первый школьный опыт оказался непродолжительным. В феврале 1917 года петроградские домохозяйки, голодные и негодующие, начали грабить пекарни и продовольственные магазины. Родители запретили мне выходить на улицу одной. Гимназии тогда еще работали как обычно. Каждое утро мама провожала меня на занятия и встречала после уроков.

Однажды я стояла у окна нашего класса, выходящего на Невский. Подо мной был Аничков мост. Я увидела, как его оцепили казаки на лошадях, с нагайками и саблями; впереди – офицер на лошади с обнаженной шашкой. Казаки медленно двинулись навстречу приближав-

---

<sup>1</sup> Из стихотворения Л. Каннегисера «Смотр». – Здесь и далее примеч. и перев. автора.

шейся толпе, тут и там виднелись красные флаги. Демонстранты остановились. Было страшно. Пришла классная дама и велела всем выйти из класса. Я так и не узнала, чем это закончилось.

Летом 1917-го мне исполнилось девять лет. Я была жизнерадостной девочкой. Все тревоги взрослого мира проходили мимо меня. Уроки в гимназии оказались гораздо скучнее занятий с Исаем. Поэтому каникулы я восприняла как счастье, омраченное только тем, что в том году на дачу в Одессу никто не поехал.

Осталось ли у меня в памяти что-то от зимы 1917–1918 годов и двух следующих? Гимназии и школы не работали, не было отопления, воды, электричества. Не ходили трамваи. Деньги перестали что-либо значить: никакой еды или одежды купить на них было невозможно. Магазины были разгромлены, правда, кое-где открылись столовые, там, если повезет, можно было съесть миску горячего супа. А есть хотелось всегда. По неосвещенным страшным ночным улицам бродили голодные замерзающие люди. Грабили и насиловали. Мне и Нине строго-настрого запретили выходить из дома. Трамваи стояли на рельсах там, где их застал обрыв проводов. В окно я видела, как из нашего дома съехали две или три семьи. Мама сказала, что выселяют «бывших» (буржуазные элементы).

Март 1921 года. Кронштадтское восстание. Те же балтийские матросы, которые четыре года назад привели большевиков к власти, восстали против их диктатуры. Тревожные дни. Что будет? В городе комендантский час. После шести нельзя оставаться на улице. Исай Бенедиктович спешит домой, увязая в сугробах.

Мы жили тогда в чужой квартире – хозяева спасались от голода на Украине, – в комнатах с плюшевой тахтой, с бисерными висялками на всех абажурах и с фотографиями в рамках по стенам, но зато там были настоящие печи, а не буржуйки, заменившие повсюду лопнувшие трубы парового отопления. Исай работал инженером на двух службах, что удваивало паек, а по вечерам переводил для «Всемирной литературы» Бальзака и Франса. Рутинная инженерная работа тяготила его, переводами он продолжал заниматься для души. Мама меняла – обручальное кольцо на сазана, пиджак на четыре «плахи» дров, свой свадебный сервиз на двадцать четыре персоны на пуд ржаной муки. И в результате наши четыре персоны кое-как кормились, грелись и радовались возможности погреть и угостить пшенной кашей и кипятком с сухарями забредавших гостей. Иногда Исай приносил с работы остатки старой мебели. Она тоже шла в печь.

В те редкие часы, когда был свободен, Исай занимался с нами по гимназической программе. Иногда урок вела мама. В основном учились сами, следуя указаниям Исая. У нас было много книг, которые мы с Ниной читали взахлеб, все равно днем дома было больше делать нечего. Нам нравились разные книги, я любила Жюль Верна, а Нина нет. В 1919 году мы приютили у себя Анастасию Михайловну Харитонову, все ее звали Настей. Она была простой женщиной, немного старше мамы, ее родные пропали во время Гражданской войны. Однажды она постучала в дверь и спросила, нет ли у нас для нее работы по хозяйству хотя бы на день. Вместо одного дня она прожила с нами много лет, до самой смерти, и стала членом нашей семьи.

Несмотря на вынужденное заточение, мы не были совсем одиноки. Родственники и друзья семьи приходили просто погреться, чаще всего ранним вечером, иногда еще до возвращения Исая со службы. Морозы в те годы были жестокими, а из-за голода, холода в комнатах и постоянного пребывания в одной и той же недостаточно теплой и обветшалой одежде гости часто приходили заколеченными. «Ну что же будет дальше? – спрашивал Исай за чаем и сам же отвечал: – Думаю, что все наладится». Он вообще был оптимистом.

И действительно, кажется, в сентябре 1920 или 1921 года в Петрограде открылись школы. Частные гимназии были запрещены. Школа теперь называлась трудовой, форму, отметки, экзамены отменили, и – самое поразительное – мальчики и девочки учились теперь вместе. Правда,

все-таки за партами девочки сидели отдельно от мальчиков. Меня записали сразу на вторую ступень.

Нам преподавали русский язык, литературу, математику, физику, химию и биологию (эти три предмета вел один и тот же занудный учитель, на уроках которого царила полная анархия), труд (девочек учили шить) и политграмоту. На уроках литературы рассказывали о пролетарских писателях: Максиме Горьком, Демьяне Бедном, Александре Безыменском. Вообще-то, каждый учитель выбирал темы для уроков более-менее по своему разумению. Мне очень повезло с математичкой Валентиной Александровной. Тогда она казалась жутко старой и бесцветной мымрой; как я сейчас понимаю, ей было около сорока. До революции она преподавала в мужской гимназии. Когда она начинала говорить о математике, ее глаза зажигались. Хотя у нее был тихий голос, мы с одноклассниками слушали внимательно и увлеченно.

Вечером, когда семья собиралась за столом, родители расспрашивали меня о школе. Как-то я спросила у Исаю, почему на литературе не рассказывают о Тургеневе, которым я тогда увлекалась, мне было, кажется, четырнадцать лет. Он грустно посмотрел на меня и сказал, что Тургенев нынче недооценивают. Он помогал мне с домашними заданиями по физике, его объяснения всегда были понятнее, чем в школе на уроках. Иногда он спрашивал, чему нас учат на политграмоте. Огорчать его не хотелось, пересказывать было бы безумием, и я старалась отшутиться.

Вообще на политические темы мы редко разговаривали с родителями впрямую, если только они не касались наших родственников. Но намеки взрослых, их жесты, отсутствие газет в доме, умолчания – все это дети быстро понимают. Понимание приходит из окружающей тебя атмосферы. Я быстро уразумела, что доверять и говорить откровенно можно только с самыми близкими друзьями, да и то в известных пределах, и поняла, на какие темы можно разговаривать с одноклассниками и новыми знакомыми. Стукачом мог оказаться любой и каждый... Мне потребовалось десять-пятнадцать лет жизни на Западе, прежде чем этот инстинкт, прочно встроенный в подсознание, отпустил меня.

С началом НЭПа в 1921 году жизнь наладилась. Исчезли скудные пайки. Открылись магазины. Как грибы после дождя появились рестораны и танцзалы. Исай, работая инженером в бывшей Всеобщей компании электричества, а затем на Свирьстрое, получал неплохую зарплату. Помню, какая была радость, когда он принес мне из магазина настоящее платье. До этого платья мне перешивала Настя из старых маминых. К тому же нам разрешили переехать в квартиру в прекрасном доме на Моховой (№ 26). Правда, она оказалась несколько великоватой для нас пятерых. Чтобы не подселили чужих людей, в одну из комнат мы поселили дальнего родственника. Я уже не помню его фамилии, звали его Эрик. Впрочем, мы его почти не видели, он проводил все время на работе.

Когда мне исполнилось тринадцать, мама и отчим решили, что нам с Ниной надо знать французский. Они нашли пожилую француженку, которую за глаза мы звали *madame La Vieille*<sup>2</sup>. Первые два-три урока прошли нормально, но потом она принесла с собой пьесу Ростана «Орленок». Мы должны были читать ее на два голоса. С ума сойти! Монологи казались нам бесконечными. Но вскоре мы заметили, что минут через пять *Madame La Vieille* начинает клевать носом. Я стала читать каждую четвертую строчку. У Нины был другой метод, она читала каждую четвертую страницу. Голоса лились монотонно, и *Madame La Vieille* ничего не замечала. Даже таким сокращенным способом чтение продолжалось два месяца, после чего мы взбунтовались.

Исай всерьез занялся профессиональным переводом и начал работать по договорам с «Всемирной литературой». Для этого издательства он перевел «Страдания юного Вертера» (напечатано в 1922 году) и «Годы странствий Вильгельма Мейстера» для предполага-

---

<sup>2</sup> мадам Старуха (фр.).

шегося собрания сочинений Гёте (которое, к сожалению, так и не было напечатано), а также «Утраченные иллюзии» Бальзака, изданные «Академией» с большой задержкой. Хотя Исай по-прежнему каждое утро уходил в свою контору, переводы стали его страстью и жизнью, а гонорары составляли существенную часть заработка. Еще через два-три года, в середине 1920-х, он оставил инженерство и на некоторое время примкнул к сословию «свободной профессии», как тогда назывались представители различных искусств, не связанные государственной службой.

Во времена НЭПа бурно расцвели частные издательства – «Атеней», «Петроград», «Время», «Мысль», «Книга», «Сеятель», «Книжный угол». Они возникали одно за другим и печатали переводную художественную литературу в огромном количестве. Но раздобыть новейшую иностранную литературу было очень непросто, к тому же ее часто не пропускала цензура, которая именовалась жутким словом «Главлит». Поэтому частные издательства охотно печатали произведения писателей XIX века или еще более старых.

Переводами стали заниматься прозаики и поэты, критики и филологи, наконец – просто «бывшие» люди, хорошо знавшие языки. Между издательствами существовала конкуренция. Нередко два издательства одновременно выпускали одну и ту же книгу в двух различных переводах и под различными названиями. Например, Исай Бенедиктович перевел «Люди доброй воли» Жюль Ромена наперегонки с Осипом Мандельштамом. Литературный язык Исая был безупречным, с одинаковой свободой он переводил как с немецкого, так и с французского.

Почерк у меня и на русском и на английском можно охарактеризовать как «курица лапой». Так уж получилось с самого детства, несмотря на все старания родителей. В отличие от меня, почерк у отчима был четкий: рукописи, особенно при спешке, шли прямо в набор. Дома в книжном шкафу выстраивалась целая полка его переводов: «Доминика» Эжена Фромантена, «Сцены из жизни богемы» Анри Мюрже, «Манон Леско» аббата Прево, новеллы Артура Шницлера, романы Лео Перуца, малоизвестные повести Бальзака, «Мой дядя Бенжамин» Клода Тилье... До моего отъезда в Швейцарию в 1931 году в его переводах вышло более пятидесяти книг. В то время он стал признанным мастером перевода.

Чудом у меня до сих пор сохранилась тонкая книжка, переплетенная вручную. Вот она, лежит сейчас передо мной на столе. На обложке – Лео Перуц, «Парикмахер Тюрлюпэн», Обще-доступная библиотека, издательство «Сеятель», 1925. На обороте можно прочесть: «Перевод с немецкого И. Б. Мандельштама». Боже, как давно это было...

Счастье кончилось в 1928 году, когда НЭП был свернут. Чтобы кормить семью, Исай устроился штатным редактором основанного в 1925 году технического издательства Комиссии по улучшению быта учащихся (КУБУЧ). Среди прочего оно выпускало естественнонаучную и техническую литературу. В 1929 году вышла монография отчима «Болезни электрических машин».

## Университет

Школу я закончила в 1926 году, и передо мной встал вопрос: чем заниматься дальше? Понятно, что идти в университет, но на какой факультет? Гуманитарные специальности отменяла сразу, несмотря на любовь к литературе, которую мне привил Исай. В те годы история, литература, юриспруденция и т. п. были продолжением той же школьной политграмоты. Родители и родственники, связанные с медициной или биологией – а их было много, – в один голос советовали медицину. Практичная специальность, врачи много зарабатывают и т. д. В общем, понятно. Но туда меня совершенно не тянуло. И я сделала выбор, всех удививший, – физика. А причина была проста: студенты физмата показались мне умнее и образованнее, чем на других факультетах. Я была романтической девушкой, и мне казалось, что вижу вокруг них сияние, которое меня притягивало. В те годы девушек на физмате практически не было.

Но тут вставала другая проблема. В университет не принимали детей из семей «бывших»: дворян, купцов, кулаков, священников, царских чиновников и офицеров, нэпманов и прочих «буржуазных элементов». Исай в то время уже не работал на Свирьстрое, мама никогда не работала; доход нашей семьи складывался из гонораров, полученных в основном от частных издательств за переводы. Поэтому надо мной мечом нависло «неправильное» социальное происхождение. К тому же фамилия Каннегисер... Когда я в первый раз принесла свои документы в приемную комиссию, их просто не приняли. «Ваш отчим – буржуазный элемент, – сказали мне, – вам не положено быть в университете».

Я спряталась в каком-то дворике и долго редела. Так, зареванная, и пришла домой. Вечером у нас был семейный совет: мы решали, что делать. Исай очень логично объяснял, что никакой он не буржуазный элемент, а труженик. Мы с мамой были с ним полностью согласны, но как объяснить в приемной комиссии, что он труженик, если он не рабочий, не крестьянин и не работает ни в каком советском учреждении? Я опять расплакалась.

Неожиданно мама обернулась к Исаю: «А не спросить ли нам совета у Якова Ильича Френкеля?»

С Яковым Ильичом и его женой Сарой Исааковной мы иногда встречались в гостях у Александра Гавриловича Гурвича, двоюродного брата Исая. У Гурвичей было две дочери – младшая, Наташа, была мне почти ровесницей, и мы близко дружили. В 1926 году Якову Ильичу было чуть больше тридцати, но он был уже известным физиком-теоретиком, автором нескольких открытий и монографий. Он работал в Ленинградском физико-техническом институте, но читал лекции и в университете.

Вечером следующего дня Исай и я поехали к Френкелям. Застали Якова Ильича и Сару Исааковну играющими со своим трехлетним сыном. Отдав ребенка няне, они усадили нас за стол, где гостей уже ждал чай. Сначала я рассказала, что со мной произошло в приемной комиссии, стараясь изо всех сил не расплакаться. Яков Ильич задавал мне вопросы, какие – уже не помню. Потом говорил Исай. Яков Ильич помолчал, видно было, что он обдумывает ответ.

– Хорошо, обещать ничего не могу, но я разужнаю в деканате.

Прощаясь, он улыбнулся мне в дверях, похлопал по руке и сказал:

– Женя, в нашей стране любой труд уважаем. Думаю, что все будет хорошо.

Интересно, думал ли он то же самое, умирая в 1952 году?

В университет меня приняли 30 июля 1926 года. Декан отозвал меня в сторону и предупредил, что диплом об окончании Ленинградского университета я не получу: «Дать вам диплом мы не можем. Но выдадим справку, что вы прослушали такие-то курсы с такими-то результатами».

Мне было все равно. На четыре года вперед я не заглядывала.

Курс обучения на физфаке тогда был рассчитан на четыре года. Я пишу «рассчитан» чисто по привычке, на самом деле никто ничего не считал. Учились мы своеобразно, совсем не так, как сейчас учатся студенты. Экзамены сдавали почти круглый год – в любом порядке и в любой последовательности. Никто не интересовался, каков этот порядок, можно было сначала сдавать какие-то предметы за четвертый курс, а потом – за первый. Подходили сами к профессору и договаривались о сдаче. Слушали лекции, ходили на семинары, но больше читали учебники и обсуждали их друг с другом.

Никакой твердой программы не было, а курсов было немного. Вот я открываю зачетную книжку, которую зачем-то храню на память, и вижу, что на втором курсе я сдала электричество, семинар по математике, механику (первую часть) и теорию функций комплексных переменных, а на третьем – статистическую физику, оптику, военную санитарную, уход за больными и учение о лекарствах. Довольно хаотичный набор, да?

Было у нас три лабораторных практикума: на первом курсе – по механике и молекулярной физике, на втором – по электричеству и оптике. На этих двух практикумах мы должны были сделать около двадцати пяти заданий. Третий лабораторный практикум был на третьем курсе. Там надо было выполнить шесть работ, уходило примерно по неделе на каждую. Они были посложнее – фотографирование спектров и т. д. Дмитрий Иваненко (речь о нем впереди) отличался остроумием. Он написал руководство, как сдавать третий практикум. Надо было делать все наоборот: заранее придумать результат, потом определять статистический разброс и т. д.

Ландау никак не мог сдать этот третий. Все разводили руками и не знали, что делать. Потом все пошли к декану (Тверскому):

– Что делать? Есть такой гениальный юноша, Ландау, но сдать третий практикум никак не может.

– Ну, пусть он вместо этого сдаст два математических курса за математический факультет, – решил Тверской.

Дау сдал их за две недели.

Я немного забежала вперед, упомянув Ландау и Иваненко. Не знаю, как это произошло, но вокруг них сложился фантастический круг, и я в него попала! Fabelhaft<sup>3</sup>. Ландау любил, когда его называли Дау. Иваненко (в просторечье Димус) был в ЛГУ с 1923 года, а Ландау с 1924-го, оба были известны всем физматовцам. Ландау вообще был гением. В этом никто не сомневался. Когда я с ним познакомилась, он уже писал свою первую научную работу в *Zeitschrift für Physik*<sup>4</sup>.

Кажется, это было в октябре. Туман. Особенный, петербургский туман. Я опаздываю на лекцию. И прямо в коридоре, в мокром плаще, сталкиваюсь с небрежно одетым молодым человеком. Все в нем мальчишеское. И копна волос, и худое бледное лицо, и искорки в глазах... Не знаю, как получилось, но я протянула ему руку и сказала:

– Жень Каннегисер.

– Ландау, можно просто Дау.

После паузы:

– Приходите сегодня вечером к Ире Сокольской.

Всё. Он пошел дальше не обернувшись.

---

<sup>3</sup> Невероятно (нем.).

<sup>4</sup> Физический журнал, издавался в Германии с 1920 по 1975 год. До Второй мировой войны был главным в мире журналом по физике.

Иру Сокольскую я уже знала. Она была умной и симпатичной девушкой и прекрасно рисовала. В ней текла польская кровь. Мне успели рассказать, что все мальчики физмата были поочередно влюблены в нее. Всем она предпочла Андрея Ансельма, за которого вышла замуж через несколько лет. Позже она стала профессором в ЛГУ<sup>5</sup>.

В тот вечер, дома у Иры Сокольской, Ландау познакомил меня с Георгием Гамовым, или Джонни (Джо), и Дмитрием Иваненко, или Димусом. Так я влилась в «джаз-банд». Ура! Не знаю, почему они так называли свой кружок. Тогда джаз считался буржуазной отравой. Злопыхатели – а их было немало – умышленно добавляли одну букву в конце: «банда».

Ландау – или Дау, как к нему все обращались, – был моим ровесником, но по поведению казался мальчиком. Характер у него был очень неровный, с пиками и падениями, и у него были проблемы с женщинами. Наверное, я еще напишу об этом. Впрочем, ему прощалось все, ведь во всех шутках и студенческих розыгрышах он был заводилой. Начальство доводил до белого каления. Разыгрывать начальство составляло для него необъяснимое удовольствие. Ландау сначала жил у своей тети, Марии Львовны Брауде, которая заботилась о нем. Потом снял комнату. Подыскать жилье ему удалось не сразу. Вначале он попытался снять комнату у известной актрисы, но получил отказ. Когда я узнала об этом, села за стол, и мое перо само написало:

Стан согнутый, глаз прищуренный,  
Худ и бледен, как мертвец,  
А Самойловой-Мичуриной  
Нужен пламенный жилец.

Непонятно, как у меня возникает строфа в голове. Что-то сдвигается, и сразу выплывают все слова в нужном порядке. Наверное, Исай Бенедиктович сумел мне это передать. К тому же были в нашей семье и другие поэты.

Иваненко был милый улыбчивый мальчик со странными, удлинёнными глазами. Как две рыбки на лице. Он больше молчал, чем говорил. Шутки он любил почти так же страстно, как и Дау. В то время Мариэтта Шагинян в «Вечернем Ленинграде» печатала «Месс-Менд» – с продолжением. В романе – Джим Доллар. Иваненко начал писать пародию на Шагинян под названием «Пит Стерлинг». Иллюстрации рисовала Ирина Сокольская, на них заметно было портретное сходство персонажей с Абрамом Федоровичем Иоффе, Френкелем и другими. К сожалению, это издание так и не было доведено до конца.

Димус снимал комнату на Васильевском. Студентам комнаты сдавали охотно – это освобождало от оплаты за дополнительную площадь. Студенты платили около пятнадцати рублей в месяц – с уборкой, электричеством, водой, кипятком утром и вечером; потом плата немного повысилась. Прежде чем Иваненко удалось снять комнату по вкусу, он пересмотрел много других. Ничего не подходило.

Три окна и площадь средняя,  
Ванная и телефон,  
Есть отдельная передняя,  
Академии район.  
Хоть прекрасно предложение,  
Отрицателен ответ:

---

<sup>5</sup> Ирина Леонидовна Сокольская в 1936 году была приглашена на кафедру электрофизики. Позднее – профессор ЛГУ, специалист по электронике твердого тела.



«Далеко буду от Жени я,  
И трамвая к Дау нет...»

Однажды поздней осенью он подошел ко мне в коридоре после лекции.

– Давай я провожу тебя домой, на Моховую.

– Димус, но тебе же это вовсе не по дороге.

– Меня это не смущает.

Он стал приглашать меня в Летний сад. Сначала я отказывалась, но Димус выглядел таким несчастным. Мне хотелось по-матерински погладить его по голове и подбодрить. В Летнем саду мы гуляли, взявшись за руки. Я влюбилась. То есть тогда мне казалось, что пришла серьезная безмерная любовь; дома по вечерам меня даже немного знобило от возбуждения. Только после того, как я встретила Руди, я поняла, что такое настоящая любовь. С Димусом – да, была первая любовь, о которой я начиталась в романах. Я создала его из своего воображения и в течение полутора лет считала себя его невестой. А потом все прошло само собой, будто пелена спала, у меня чуть раньше, у него чуть позже.

Небо было пламенно-лиловым,  
Дмитрий Дмитрич оседлал конька,  
Что ни слово – стих из Гумилева,  
Фраза из Ахматовой, строка.

Длительны прогулки по аллеям  
В Летнем фантастическом саду.  
Димус проповедует Рэля,  
Женя засыпает на ходу.

Хотя мне тогда исполнилось восемнадцать, сердечный опыт был очень небольшим. Трое или четверо мальчиков ухаживали за мной в школе, но как-то вяло, и обычно эти увлечения заканчивались после первых же каникул. В те годы раннего большевизма общее отношение к любви было радикальным. В нашей боргмановской библиотеке лежала подшивка «Правды». Однажды, заглянув в нее, я наткнулась на статью известной большевички, в которой прочла:

«Если мужчина вожделеет к юной девушке, будь она студенткой, работницей или даже девушкой школьного возраста, то девушка обязана подчиниться этому вожделению, иначе ее сочтут буржуазной дочкой, недостойной называться истинной коммунисткой...»

В ходу были лозунги: «Комсомолка, не будь мещанкой – помоги мужчине снять напряжение!»

Я была воспитана на другой культуре и другой любви и, разумеется, не причисляла себя к комсомолкам. Хотя подчеркивать это на людях не стоило. Так что меня эти лозунги не касались. Думаю, что все участники джаз-банда в той или иной мере разделяли мои взгляды. Может быть, кроме Дау. Сейчас, конечно, все это – древняя история.

Гамов-Джонни был старше всех нас. Когда меня с ним познакомил Ландау, Гамову было уже двадцать два года. Он был высокого роста, стройный, лицо с правильными чертами. Совершенно неэмоциональный и рассудочный. Говорил очень высоким голосом («Канарейка на десятом этаже», – сострил как-то Руди). В общем, полная противоположность мне. У меня было прозвище Женя Крикулькина. А сестру Нину звали Нина Крикулькина. И тем не менее мы с Гамовым стали близкими друзьями.

Гамов не меньший мастер на всякие розыгрыши, чем Дау: посылал Дау мифические телеграммы, содержавшие будто бы экспериментальные подтверждения тех или иных гипотез, а затем – в следующей телеграмме – сообщение об их опровержении...

Вы все – паладины зеленого храма,  
По водам де Бройля державшие путь,  
Барон Фредерик и Георгий de Gamow,  
Эфирному ветру открывшие грудь.

Ситуация с деньгами у Джонни была самой тяжелой из всех нас. Его отца, потомственного дворянина, естественно, обобрали до нитки. Джонни приходилось зарабатывать самому, причем никак не меньше пятидесяти рублей в месяц. Приехав в Ленинград в 1922 году и поступив в ЛГУ, он сразу же устроился наблюдателем на метеорологическую станцию Лесного института. (На подобной станции через несколько лет буду работать и я.) Станция помещалась в железной башне, где зимой был дикий холод. Правда, там стояла печурка, но ее надо было топить, и надо было пилить дрова, а на это Гамов был никак не способен. Когда однажды на метеостанцию пришел главный начальник, в журнале Гамова не оказалось ничего, ни одной строчки записи.

– Я думал, что самописцы сами все делают, сами записывают, – оправдывался Гамов.

Его с треском выгнали.

Он раньше всех из джаз-банда закончил университет, в ноябре 1924 года, и, поступив в аспирантуру ЛГУ, одновременно начал работать в Оптическом институте и преподавать в мединституте. Конечно, я не могла удержаться, и вот росчерком пера появился куплет:

Он блондинкам типа лямбда  
Объясняет цикл Карно...  
Физика врачам обуза,  
Но глядите результат:  
Пять студенток из медвуза  
Переходят на физмат.

20 октября 1927 года был день рождения Иры Сокольской. В праздновании участвовали Гамов, Дау, Иваненко. Меня в тот день почему-то не было, так что дальнейшее я слышала от Димуса, с которым мы тогда еще гуляли по Летнему саду. Ира и три мушкетера пошли в «Асторию» – тогда там была столовая, где можно было пообедать за двадцать пять копеек. За два часа Гамов, Дау и Иваненко в подарок Ире написали научную статью и тут же послали ее в «Журнал Русского физико-химического общества», даже не перепечатав на машинке. Статья называлась «Мировые постоянные и предельный переход». Она вышла через несколько месяцев и сначала не вызвала никакого интереса. Кажется, даже сами авторы забыли о ней. Спустя двадцать с лишним лет, в 50-е годы, Руди сказал мне, что эта работа стала знаменитой.

В отличие от многих, Гамов мало интересовался политическими новостями. Газет не читал – спрашивал у друзей, о чем, собственно, идет речь, что такое оппозиция или какая платформа у той или иной группы. Когда ему начинали объяснять, он очень быстро терял всякий интерес, утверждая, что суть ему понятна, а детали не нужны.

Ну, и запоздалый член джаз-банда, Матвей Петрович Бронштейн. Аббат. Это я привела его в круг Ландау. Познакомились мы с ним ранней весной, по-моему, 1927 года. Стояли лужи, чирикали воробьи, дул теплый ветер, и я, выходя из лаборатории где-то на Васильевском острове, повернулась к невысокому юноше в больших очках, с очень темными, очень акkuratно

постриженными волосами, в теплой куртке, распахнутой, так как неожиданно был очень теплый день, и сказала: «Свежим ветром снова сердце пьяно». После чего он немедленно продекламировал все вступление к этой поэме Гумилева. Я радостно взвизгнула, и мы тут же по дороге в университет стали читать друг другу наши любимые стихи. И, к моему восхищению, Матвей Петрович прочитал почти всю «Синюю звезду» Гумилева, о которой я только слышала, но никогда ее не читала.

Придя в университет, я бросилась к Димусу и Джонни – в восторге оттого, что только что нашла такого замечательного человека. Все стихи знает и даже «Синюю звезду»! Разумеется, он был приглашен и появился на первом же собрании джаз-банда.

Аббат учился не на физфаке, а на математическом отделении, в группе астрономии. В те давние времена астрономия считалась частью механики. Попав в наш кружок, он быстро стал его полноправным членом. Так же быстро Бронштейн догнал Дау и Джонни в физике. У него была серьезная математическая база, и это, в сочетании с природной любознательностью, привело его к квантовой гравитации.

Я помню его взгляд сквозь очки, которые у него почти всегда сползали на кончик носа. Он был исключительно «цивилизован», он не только все читал, почти обо всем думал, но для очень молодого еще человека он был необыкновенно деликатен по отношению к чувствам и ощущениям других людей, очень благожелателен, но вместе с тем непоколебим, когда дело шло о «безобразном поведении» его друзей.

## Джаз-банд

Собирались мы часто – либо у Иры Сокольской, либо у нас на Моховой, 26. Пожалуй, наша квартира на Моховой была более популярной. Здесь к нам присоединялись Исай Бенедиктович с его неисчерпаемым запасом литературных историй и конечно же Нина. Она училась на биофаке на кафедре Александра Гавриловича Гурвича. Позднее он взял ее к себе в Институт экспериментальной медицины.

Однажды, посреди горячей дискуссии, Нина сказала:

– Хватит уже этих прозвищ: Дау, Джонни, Димус, Аббат... Давайте говорить, как все нормальные люди: Ландау, Гамов, Бронштейн...

Дау немедленно назвал это предложение «нинизмом», обвинив сочувствующих в предосудительном стремлении к солидности. «Это ли нам нужно?» – спросил он.

Одной из его забав была классификация женщин. Ландау делил всех женщин на красивых, хорошеньких и интересных. Еще два «бросовых» класса – «выговор родителям» и «за повторение расстрел» – он добавил чуть позже. Никогда не спрашивала Дау, в какой класс он поместил меня. Надеюсь, что в третий, и не дай бог в четвертый. Брр... Теория женской красоты Ландау разошлась по всему миру. В первом номере журнала «Шуточная физика», посвященном 50-летию Бора (1935), Отто Фриш и Георг Плачек опубликовали – не знаю, как и назвать, – статью, заметку или юмореску «Об измерении коэффициентов красоты по Ландау». И они действительно проводили измерения! Ха-ха-ха...

Помимо трех мушкетеров и Иры Сокольской, Андрея Ансельма, Матвея Бронштейна, меня и Нины частыми участниками наших сумасшедших вечеринок были сестры Наташа и Аня Гурвич (дочери Александра Гавриловича Гурвича), Валентина Иоффе (дочь Абрама Федоровича Иоффе), Виктор Амбарцумян, Маша Левина (мамина племянница) и братья Элевтер и Ираклий Андрониковы. Вероятно, именно в нашей квартире Ираклий впервые выступил со своими устными рассказами. Сближала нас не только физика, но и дебаты до изнеможения об истории, литературе, поэзии.

Как-то Исай Бенедиктович рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся при переводе книги Анатоля Франса «Воззрения аббата Жерома Куаньяра». Мы все дружно бросились ее читать. Матвей Бронштейн получил свое прозвище Аббат не только благодаря своей образованности, но и по герою этой книги.

Для вечеринок специально писали тексты для представлений на злобу дня или придумывали шарады-мистерии. По эскизам Иры Сокольской делали костюмы; а когда начиналось представление – дым стоял коромыслом: буквально переворачивали все вверх дном! Пожалуй, не буду скромничать, мои куплеты всегда принимались на ура. Жене Крик, то есть мне, дружно аплодировали. Обратите внимание на аллюзию с Лилей Брик!

Мама и Настя пригревали и кормили всю ораву.

Джаз-банд издавал свой рукописный журнал, он назывался «Physikalische Dummheiten» («Физическая абракадабра»). Основными авторами были Ландау, Гамов, Ансельм, Бронштейн и я. Иваненко был главным редактором. В этом журнале публиковали шуточные стихи о профессорах физфака, иногда весьма критические и, как я сейчас понимаю, обидные. Впрочем, холодный сатирический водопад низвергался и на нас самих. Отклики на новости науки тоже представлялись в шуточной форме, например «Книга пророка Паули» – о только что сформулированном принципе Паули. Там же из номера в номер шел роман Димуса о Пите Стерлинге. В 1928 году вышел последний номер «Абракадабры». Из его эпиграфа:

И смело за пси-пси с чертой  
Мы все пойдем на смертный бой.

Этот год оказался последним и для джаз-банда. Во-первых, Дау поссорился с Димусом (позднее эта ссора перешла в ненависть). Во-вторых, летом 1928 года Гамов отправился на стажировку в Европу. В октябре 1929 года туда же и за тем же отправился и Ландау. Он вернулся только весной 1931-го. Ну и самое главное, с концом НЭПа политическая ситуация в стране стала меняться к худшему, хотя тогда я это и не вполне сознавала. Вольности и шутки прежнего счастливого времени теперь стали неуместными или даже опасными.

После одной из последних вечеринок на Моховой мамин брат Борис Давыдович Левин сказал: «Вот дом, который проглядело НКВД». Но, увы, не проглядело.

Мои встречи и прогулки с Аббатом и Витей Амбарцумяном (мой милый Амбарц) продолжались; иногда мы вместе ходили в театры или на концерты. Встречалась я и с Ландау после его возвращения из Копенгагена в марте 1931-го и до моего отъезда с Руди. Пожалуй, об этих встречах я напишу отдельно. Когда в 1931 году Руди приехал в Ленинград, он уже свободно говорил по-русски. Совместная работа с Ландау была только что закончена в Цюрихе. Они даже успели обсудить ее с Бором в Копенгагене. Дау очень обрадовался своему новому соавтору и тут же дал ему прозвище Паинька.

## Начало взрослой жизни: 1929–1931 гг

Четвертый курс, выпускной, ура, ура! Осталось всего несколько экзаменов. Совсем уже собралась засесть за диплом, но тут в сентябре пронесся слух: Якову Ильичу Френкелю разрешили в следующем году (1930-м) организовать в Одессе Первый всесоюзный съезд физиков. Первый! Туда приглашены все физики из Москвы, Ленинграда, Харькова и других городов. Восемьсот человек. Будут знаменитые иностранцы!

Ах, как мне хотелось туда поехать! Взглянуть на небожителей хоть одним глазком. К тому же я не видела наших одесских родственников миллион лет.

Разумеется, никакого приглашения у меня не было – ведь я еще студентка, и даже далеко не лучшая. Собралась с духом и пошла к Якову Ильичу. И прямо с порога его кабинета:

– Яков Ильич, пожалуйста, позвольте мне поехать на съезд в Одессу, послушать доклады, хотя бы Тамма, Зоммерфельда и Паули! Пожалуйста... Когда еще такая возможность...

– Здравствуй, Женя. Как твоя дипломная работа?

– Да что работа, я за месяц напишу, обещаю. Пожалуйста!

– Видишь ли, Женя, я-то не против, но надо навести справки у начальства. Кроме того, нам выделили деньги только на прием иностранцев...

– Яков Ильич, деньги мне не нужны. То есть нужны, конечно. Но не на съезд. У меня... будут, а жить... у родственников, – от волнения я проглатывала слова.

Разумеется, и подумать не могла, чтобы взять денег на поездку из семейного бюджета. У Исаея настали трудные времена, мы едва сводили концы с концами. Их, деньги, надо было заработать самой.

Зимой 1929/1930-го я нашла работу в школе рабочей молодежи при рабфаке. Занятия проходили по вечерам, я должна была научить будущих рабфаковцев математике и физике от «А» до «Я» за одну зиму! Боже, как я боялась войти в класс в первый раз! В моей первой группе не было никого моложе двадцати семи лет, а многим уже исполнилось тридцать пять! В основном – молодые люди. Но им хотелось учиться, и они по-доброму относились ко мне, хотя я была намного младше. Они слушали внимательно и задавали дельные вопросы. Вторая группа была ужасна: хотя и возрастом помоложе, и больше девушек, но заданий никто не выполнял, на уроках стоял гул – все друг с другом переговаривались. Даже мой громкий голос не помог. В итоге почти все ученики получили незачет. В этой группе я решила действовать как настоящая строгая учительница.

В Одессу я приехала в середине августа, за несколько дней до начала съезда. Открытие – во вторник, 19 августа, в большом зале горсовета. Местное радио планировало транслировать открытие. Всем участникам (и мне тоже!) выдали значки, позволявшие ездить в трамваях без билета.

То, что открытие съезда приходилось на вторник, я узнала от Руди. У нас тогда действовал революционный календарь, в котором не было не только дней недели, но и вообще недель. Вместо них были пятидневки. Программа съезда была рассчитана на целую пятидневку.

Я так волновалась опоздать к открытию, что приехала к горсовету раньше времени. Зарегистрировалась, получила (бесплатно!) несколько билетов в театр и кино и записалась на автобус, который в перерывах между утренней и вечерней сессиями будет возить желающих на пляж Лузановка. Самое главное, мне, как и другим участникам съезда, предложили после конференции поехать на экскурсию на пароходе «Грузия» с заходом в Крым, затем в Батуми. Разумеется, я согласилась. Мне тут же выдали талон на билет третьего класса. Ура!

Большой зал украшен лозунгом на кумачовом полотне: «Физики всех стран, объединяйтесь! Во имя светлого будущего всего человечества!» Лозунг – позади президиума и виден

с любого места в зале. В президиуме начали собираться почетные гости: председатель горсовета и его свита, Абрам Федорович Иоффе и несколько маститых ученых. Я сразу же узнала Арнольда Зоммерфельда.

В зал вошел Джонни, и сразу же за ним Яков Ильич Френкель. Рядом с ним шли двое незнакомых мне людей: один солидный, постарше, а второй – скромный, худенький молодой человек. «Liebe Kollegen, das ist Freulein Kannegiesser, sie hat gerade unser Universität angeschlossen»<sup>6</sup>, – представил меня Френкель по-немецки и продолжил: – Женя, познакомьтесь, это мои гости, профессор Вольфганг Паули из Цюриха и его ассистент Рудольф Пайерлс».

Немецкого языка я почти не знала. Но не в этом дело. Обычно я за словом в карман не лезу, но в тот момент безмолвно застыла как истукан, вперив взгляд в ассистента. Неловкая пауза затянулась. Наконец я очнулась и поздоровалась с Паули (по-английски; и живой бог протянул мне руку!) и Пайерлсом. Ему я сказала что-то вроде «Welcome to the Soviet Union, Mr. Peierls. Luzanovka is the best beach»<sup>7</sup>. В общем, показала себя полной дурой.

В первый же день, как только мы приехали на пляж, он подошел ко мне.

– Guten Tag, Freulein Kannegiesser<sup>8</sup>.

– Speak English, OK?<sup>9</sup> Я Женя.

– Please, call me Rudi, Genia.<sup>10</sup>

Русское «ж» у него не получилось, как не получается этот звук почти ни у кого из немецко- и англоговорящих. Получается «дж», как в слове джаз. Я всех учу, что надо произносить «ж» мягко, как во французском. Мы перекинулись парой фраз. Руди говорил тихим голосом и смотрел на меня серьезными глазами. Его английский был лучше моего, но как-то мы понимали друг друга.

У Руди был фотоаппарат, и он двинулся в сторону знаменитостей, чтобы их сфотографировать. Эти фотографии до сих пор иногда печатают в журналах.

Потом несколько раз мы пересеклись на заседаниях.

Доклады Паули и Пайерлса были 20-го, и я, разумеется, пошла на оба. Мало что поняла по физике, это был не мой уровень, но честно слушала и смотрела на жесты, мимику докладчиков и на реакцию слушателей в аудитории. В то время Паули уже был признан как один из самых выдающихся физиков современности, может быть, чуть ниже Эйнштейна и Бора, но сразу на следующей ступени. Его, не перебивая, выслушали до конца. На докладе Пайерлса задавали много вопросов прямо по ходу, с ним особо не церемонились. Впрочем, он был, видимо, рад вопросам и отвечал обстоятельно и с удовольствием.

В перерыве он спросил меня, понравился ли мне его доклад. Сначала я хотела признаться, что почти ничего не поняла, но почему-то вдруг сказала: «Yes, yes and yes»<sup>11</sup>. Раз или два мы столкнулись у моря. Я уже почувствовала, что он интересен мне, а я ему, но что это означало?

Съезд закончился в воскресенье 24 августа. Во второй половине дня довольно большая группа участников выстроилась в порту перед трапом на «Грузию». Я приехала на трамвае, иностранных гостей, включая Паули и не отходившего от него Руди, привезли на машинах. Общая каюта третьего класса оказалась ужасной: жарко, тесно, шумно. Так что ночью я спала прямо на открытой палубе под спасательной лодкой. Руди переживал по этому поводу и сетовал, что его поселили в каюту вместе с Паули и он не может со мной поменяться. Тут я поняла, что наш взаимный интерес – нечто большее. Увлечение?

---

<sup>6</sup> Уважаемые коллеги, вот госпожа Каннегисер, она только что окончила наш университет (нем.).

<sup>7</sup> Добро пожаловать в Советский Союз, господин Пайерлс. Лузановка – самый лучший пляж (англ.).

<sup>8</sup> Добрый день, госпожа Каннегисер (нем.).

<sup>9</sup> Говорите по-английски, о-кей? (англ.).

<sup>10</sup> Пожалуйста, называйте меня Руди, Женя (англ.).

<sup>11</sup> Да, да и да (англ.).

Первая остановка – Ялта. На набережной пальмы, жара... В скверике, в тени, возле пересохшего фонтана, лежат пыльные, изможденные люди. Мы окружаем их; они тянут руки, просят еды, показывают на исхудавших детей – те тоже протягивают ручонки за милостыней. «Кто эти люди?» – спрашивает меня Руди.

Группа разделилась для дальнейших экскурсий. Нужно ли говорить, что я попала в ту же машину, которая с Паули, Пайерлсом и еще двумя участниками отправилась в Байдары, недалеко от Севастополя. Как же красиво это место! Горы, озера, водопады, буковые и тисовые рощи... За двести лет до нас здесь побывал Пушкин... Обернувшись к Руди, я сказала:

– Жаль, что я городской человек. А то бы выстроила здесь хижину и осталась бы жить.

Лицо Руди не выражало восторга, хотя он и улыбнулся из вежливости. Прошло немало лет, прежде чем я научилась читать по лицу его обычно скрытые эмоции.

На следующее утро наша старенькая «Грузия» взяла курс на Батуми. Что за удовольствие смотреть на волны за бортом и болтать с Руди! Ночью мы стояли на палубе и смотрели на звезды. Неужели я влюбилась? Кажется, признаки налицо... В Батуми Паули и Пайерлс сразу же побежали в городской загс. Двое из участников съезда, Фриц Хоутерманс, физик из Берлина, и его невеста Шарлотта Рифеншталь вдруг решили пожениться в этом «экзотическом» городе, чтобы их свидетельство о браке было выписано по-грузински. Паули и Пайерлс были приглашены как свидетели.

В Батуми наша группа разделилась. Паули вернулся в Цюрих через Стамбул. Перед отъездом он еще раз напомнил Руди, чтобы тот не задерживался:

– Жду вас в Цюрихе не позднее чем через месяц.

Некоторые отправились в Тбилиси. Мы и еще несколько человек решили задержаться, чтобы посмотреть ботанический сад близ Батуми, про который нам все дружно говорили, что он того стоит. На обратной дороге с нами случилось небольшое приключение. Когда мы пришли на вокзал, оказалось, что последний поезд на Батуми отправляется через три минуты. Очередь в кассу была, как всегда, длинной. Руди предложил сесть в поезд и там заплатить за проезд контролеру. «В Германии и Швейцарии мы всегда так делаем», – добавил он уверенно. Я-то знала, что это не сработает, но Руди уже вскочил в вагон, а за ним и все остальные. Контролер просто обалдел от такой наглости и вызвал вооруженную охрану. Подошли два бойца, в руках у каждого была винтовка со штыком. В Батуми они отконвоировали нас к начальнику милиции. Тот с ходу накричал, но, когда узнал, что в нашей группе иностранцы, принял соломоново решение: иностранцев отпустить, с советских граждан взыскать штраф по полной.

На следующий день наша небольшая группа отправилась в Тифлис на поезде. После этого мы остались вдвоем – я и Руди. Руди нашел автомобиль с шофером, который за умеренную плату согласился довезти нас до Владикавказа по Военно-Грузинской дороге. В первый раз мы остались наедине, и я чувствовала – ждала и чувствовала, что что-то должно произойти. Как только мы выехали из города, Руди обнял меня и впервые поцеловал. Мы целовались как сумасшедшие. Даже не помню, о чем мы говорили. Вообще ничего не помню, кроме его рук и его губ. Я была как пьяная. Все красоты по сторонам прошли мимо меня, но какое это имело значение?

День, который мы провели во Владикавказе, оказался настолько бестолковым, что ничего в моей памяти не осталось. Мы решили ехать дальше, в Кисловодск, который тогда считался горным курортом. На ночном поезде. Руди загорелся: «Я хочу ехать так, как обычно ездите вы», – сказал он мне. Это «вы» относилось не только ко мне, оно было собирательным и относилось к среднему советскому гражданину. Я сопротивлялась как могла, но безуспешно. Он взял два билета в общий вагон.

Уже стемнело, когда мы пришли на вокзал и подошли к нашему поезду. Вагон был забит битком, в основном местными мужчинами, большими, смуглыми и усатыми. Мы с трудом протиснулись внутрь. Мне удалось втиснуться между двумя «джигитами», но больше во всем



вагоне мест не было. Несколько человек стояли в коридоре или сидели на огромных баулах. Первые сорок минут, от Владикавказа до Беслана, Руди провел на ногах возле меня. За эти сорок минут я успела рассказать ему всю свою жизнь от начала до конца. Мне казалось, что он слушает внимательно, но ...

После Беслана Руди в растерянности крутит головой по сторонам. Его взгляд падает на деревянную багажную полку под потолком, оставшуюся незанятой. Он тут же на нее забирается, привязывает себя поясом к полке, закрывает глаза и мгновенно засыпает. Его щеки слегка порозовели, он мерно дышит и слегка причмокивает во сне губами, как ребенок.

Я посмотрела на Руди и вдруг подумала: «Этот мужчина для меня. Я хочу провести с ним всю оставшуюся жизнь».

Поезд останавливается в Кисловодске, все выходят, а Руди все еще безмятежно спит. Мне пришлось будить его. Вскоре выяснилось, что из всей моей жизни, которую я выложила перед ним за те сорок минут, он запомнил только начало. Я обиделась. Это была наша первая ссора.

– Но, Женя, – сказал он, – я же безмерно устал, прости меня. Давай ты расскажешь все сначала.

В Кисловодске нас ждали серое небо и дождь, который то лил как из ведра, то моросил. В перерывах между дождями мы ходили, взявшись за руки, по старому городу... Вот, посмотрите, дача Твалчрелидзе, а вот слева дача балерины Кшесинской... Кстати, никакого отношения к Кшесинской она не имеет.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.